

Тимофей Шерудило

ОЧЕРКИ О КУЛЬТУРЕ

2023

18+

Тимофей Шерудило

Очерки о культуре

<https://litres.ru/74351292>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что такое «культура» и зачем нам она, когда у нас уже есть наука с ее чудесами (и черными провалами, которые не принято замечать)? На эти вопросы отвечает предлагаемая читателю книжка: по моему обыкновению, не имеющая ни начала, ни конца, ни выводов, ни заключений, но только общий круг идей, объединяющий отдельные эссе в нечто целое.

Содержание

Предисловие	4
I. О литературном «профессионализме»	6
II. Неизвестное	13
III. Наука и скепсис	17
IV. Полунаука	22
V. Личность и неудача	29
VI. «Научная фантастика» как мировоззрение	34
VII. Богатство и свобода	41
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Тимофей Шерудило

Очерки о культуре

Предисловие

Что это за «очерки о культуре»? Что это за «культура», и зачем нам она, когда у нас уже есть наука с ее чудесами (и черными провалами, которые не принято замечать)?

На эти вопросы отвечает предлагаемая читателю книжка: по моему обыкновению, не имеющая ни начала, ни конца, ни выводов, ни заключений, но только общий круг идей, объединяющий отдельные эссе в нечто целое.

Еще об одном мне хотелось бы сказать, прежде чем отдавать книгу читателю. На этих страницах постоянно (и неизменно остро критически) говорится о науке. Может быть, вернее было бы сказать: о силе, которая в наши дни называет себя «наукой» и требует признания этого титула от других? Во всяком случае, я обращаюсь к ней так, как она требует себя называть.

Отмечу, что вся высказанная критика относится не у «науке» или «наукам» вообще, а к тому мировоззрению, которое признаёт в мире существование одной только материи, отрицает всякую роль философии в воспитании мыслящего ума... словом, чьи постулаты давно уже были выражены А.

А. Любичевым следующим образом (в сокращении):

- «1) развитие науки — постепенное накопление окончательно установленных истин, не подлежащих ревизии;
- 4) научные объяснения отличаются от ненаучных тем, что соответствуют «реальному», «позитивному», «монистическому» или «материалистическому» мировоззрению;
- 5) историческая роль философии в науке сыграна и не подлежит восстановлению;
- 6) постулат научного оптимизма заставляет стремиться к истине независимо от тех последствий, к которым приведет это стремление;
- 7) единственно допустимый метод — индуктивный, исходящий от фактов, свободный от всякой философской предвзятости...»

Иначе говоря, «наука» в последующих эссе — это всегда догматическая наука материалистического образца, лишенная философской основы. Я не затруднял бы читателя лишними объяснениями, если б не знал, что покушение на авторитет этой господствующей силы наших дней воспринимается некоторыми болезненно и вызывает удивление...

2012

I. О литературном «профессионализме»

Граница между литературой и макулатурой проходит там, где писатель, вместо разговора о том, что для него важнее всего, принимается беседовать о вещах для читателя, может быть, и любопытных, но самому писателю безразличных. В первом случае он рискует потерять внимание читателя, во втором — самоуважение. О том, как называть писателя первого рода, я поговорю позже, однако имя писателя второго рода известно: «профессионал». На Руси некоторые очень обрадовались появлению этой невиданной прежде «профессиональной», то есть трактующей о несущественных, но небесприбыльных материях литературы. В слове «профессионал» видят нечто крепкое, западное, противоположное русской расплывчатости и неготовности. «Профессионал» для русского западника — нечто вроде «добрého (то есть пригодного, достойного) офицера» для Петра Великого: технический идеал, без которого нам не уподобиться Западной Европе. Еще С. Булгаков во времена «Вех» с почтением говорил о протестантизме, который выработал понятие «профессионального призвания» (calling, Beruf), что дало Розанову возможность зло пошутить: «Что такое «Вехи»? Это штунда. Долой иконы, несите метлы и молотки!» Штун-

дой, замечу для читателя, назывались прежде на Юге России протестантские секты, обычно немецкого корня. С обычным для нас уважением ко всему западному мы (всегда принимая что-нибудь ограниченно полезное за последнее слово прогресса) в «профессиональном» труде видим труд добротный, «на совесть» — добросовестный.

Тут-то и оказывается, что при любом переводе западных понятий на русский (как и наоборот) нечто ускользает от переводчика, а нечто, наоборот, добавляется. К нашему удивлению, в слове «профессионал», *Fachmann*, как говорят немцы — нет ничего от «совести». Понятия эти никак не связаны. В «человеке долга и навыка» нет ничего этического. Этика — там, где «долг и навык», закон и деньги не всесильны и не определяют человеческих отношений. Можно сказать и сильнее: этика — вне закона. Приняв это допущение, можно не удивляться тому, например, что «профессионал» может быть недобросовестен нравственно. Что он может любить не дело, а деньги. Что он трудится не «от души», как принято говорить в России, а в силу привычки к труду, любви к жизненным удобствам и страха (или почтения) перед законом.

Достоевский заметил, что нельзя быть хорошим сапожником без доли поэзии в душе — иначе сапоги выйдут плохи. Достоевский, естественно, не имел в виду «профессионала». Сапожник этого нового типа радуется прежде всего не хорошим сапогам, а хорошей прибыли, тогда как надо — наоборот. Гоголь — в «Невском проспекте», кажется, — вывел

немецкого мастера, который, запросив с покупателя лишнее, старался выполнить заказ получше, чтобы не стыдиться самого себя. Я думаю, это был ремесленник старой протестантской выучки, у которого труд и этика еще не разделились непроницаемой перегородкой, как это произошло позднее. Общее правило, по-видимому, именно таково: закон приходит в качестве общепринятого выражения нравственности (включая сюда обязанности не только по отношению к ближним, но и к государству), и развивается в самостоятельную власть, провозглашающую, что нравственно — то, что законно. Религиозная и нравственная почва закона выветриваются постепенно, оставляя его здание без опоры, вернее — без другой опоры, кроме собственной силы.

Однако вернемся к писателям. Прославленные новой русской критикой «профессиональные литераторы» суть, по-просту говоря, люди, которые пишут не о том, что любят, а любят не то, о чем пишут. По существу, это очень напоминает продажную любовь, о служительницах которой почему-то говорят с меньшим уважением, хотя они¹ — в высшей степени люди «долга и навыка», в некотором роде — образцово профессиональные люди. Я думаю, стоило бы почаще вспоминать об этом сравнении, чтобы с меньшим почтением относиться к повсеместно прославляемым литераторам, всё достоинство которых состоит в умении приноровиться к

¹ То есть, конечно, «онф». Одна из шуток, которые шутит с нами «новая орфография».

желаниям потребителя. Литература — вне их, и они — вне литературы.

«Профессионал», однако, не только в литературу пришел или в литературе родился. Это действительно новый духовный тип, у которого труд и этика, трудящаяся личность и человек окончательно разделены. Что это значит? Это значит, в первую очередь, что с наступлением эпохи «профессионала» душа отставлена в сторону как второстепенная, а может быть, и ненужная вещь. «Долой иконы, несите метлы и молотки!» Безусловно, душа с ее нравственными и эстетическими требованиями — вещь совершенно лишняя для «повышения производительности», да больше того: одушевленность, способность волноваться правдой и красотой, как-то мешает производительности. Если рыцарь или монах (налично беру средневековые, то есть самые ярко отличающиеся от нынешних идеалы) могли выполнять свое дело, не поступаясь личностью и внутренней жизнью, более того — для монаха, и в меньшей степени для рыцаря их внешнее дело было неотрывно связано с их внутренней жизнью, то трудовая мораль современной эпохи есть мораль верного руководству исполнителя, для которого внутренняя жизнь — только недостаток, если не прямой порок, мешающий «профессиональному росту».

Внутренняя жизнь в современном мире допускается только в качестве «увлечения», так называемого «хобби», которому отводится очень частное и очень ограниченное место.

Вспомните диккенсовского м-ра Уэммика, у которого было два лица — одно для Сити, другое для частной жизни... Пришел Fachmann (нарочно употребляю короткое и звучное немецкое слово, означающее и «профессионала», и «специалиста») и убил душу. Нам кажется, что это очень современно (чтобы не говорить «прогрессивно» — вот одно из любимых современностью, но ничего не значащих слов), но на самом деле это очень плохо. Когда французский наниматель говорит служащему: «Извинить опоздание на работу может только ваша смерть» — это значит, что и жизнь, и смерть служащего ничего не значат. Широкая личная свобода, которая предоставляется этим служащим в часы, не занятые трудом, не отменяет рабства, в котором находятся их усталые души.

Одно из важнейших современных производств есть производство развлечений. Стал ли человек легкомысленнее за последнее столетие? Не думаю; напротив, он стал значительно мрачнее и пугливее. Однако развлечений всё больше, и массы требуют новых — именно потому, что «профессиональному», т. е. обездушенному, труду нужен противовес. Личным развитием пожертвовали ради «повышения производительности»; с каждым следующим поколением общество (говорю, конечно, о Западе) всё богаче материально и всё однородней и проще в культурном отношении... Так стоит ли нам радоваться, что «профессионал», то есть однородная рабочая масса, верная долгу по отношению к хозяевам и беззаботная в отношении собственной души, пришел и в

Россию?

Я думаю, можно даже выразить некоторую социологическую аксиому, вроде тех, которые формулировал К. Леонтьев: 1) не бывает высшей культуры в обществах, основанных на равенстве прав, воспитания и образования; 2) высокопроизводительное общество нуждается в усредненной в своих чувствах, привычках и воспитании массе; 3) обладающее высшей культурой общество не бывает экономически эффективным. Уточню, что под «культурой» я имею в виду не всеобщее усредненное, в основном техническое, образование, но плодотворную умственную и духовную жизнь, свойственную (так всегда бывает) не всему обществу, но его части. Поверхностная грамотность, которая так нужна для повышения производительности, имеет в основном противокультурный характер. Массы приобщаются к чтению отнюдь не для того, чтобы думать над книгой, но для того, чтобы над книгой забыться; иначе говоря, книга в обществе «массовой культуры» становится на место водки. Можно называть это «прогрессом», но по существу это путь упрощения, если не прямого оболванивания масс, причем — по некоей жестокой иронии, — чем дальше заходит это упрощение и уплощение общества, тем больше и выразительнее его технические достижения.

Чтобы быть «профессионалом» и двигать вперед машину «прогресса», не нужно большого личного развития. Известная умственная несложность, любовь к простым объяс-

нениям, невежество в области, выходящей за пределы специальности, напротив, ведут к успеху. Современную науку окружает облако суеверий, как оно окружало средневековую Церковь. Причина не только в умственном опрощении общества, но и в умственной несложности специалиста. Специализация в своей области означает полное невежество во всём, за пределы этой области выходящем. Бредовые, но уверенные суждения математика об истории, физика о богословии — следствие этой специализации, а впрочем, еще больше — следствия утраты наукой философского основания. При всём изобилии опытных данных современная мысль зашла в тупик, т. к. она и не предполагает, что для истолкования полученного опыта так называемого «здорового смысла», т. е. принципа сбережения умственных усилий, совершенно недостаточно — нужны правильные приемы мышления, без которых несомненный опыт будет только почвой для самой безответственной мифологии, знаменитыми примерами которой являются учения Маркса или Фрейда. Философия, чтобы обобщить сказанное, есть воспитание ума. Невоспитанный ум не может отправиться на поиски истины, ему лучше и не ходить за ней, потому что, в отличие от Ивана-Царевича, он приведет домой не царевну, а лягушку. И здесь презрительно глядящий на профанов специалист оказывается ниже человека XIX столетия, душа которого получала свое воспитание, не связанное с идеалами производительного роста...

II. Неизвестное

В последние несколько столетий все говорят о «познании», о «картине мира», однако справедливости ради надо сказать, что наше незнание, наши представления о неизвестном или хотя бы вера в существование этого неизвестного не менее важны, чем познание и картина мира. Неизвестное на этой картине составляет задний план, основу, поверх которой накладываются краски, и которая тут и там просвечивает на местах, где красок не хватило — вернее, там, где художник не знал, что изобразить. «Просвещение», как определенное наклонение ума, как некоторая интеллектуальная вера, мечтает о мире, в котором неизвестное или отсутствует, или существует только временно; его цель — полное знание, а затем и покорение мира. Что мы познаем, тем сможем управлять. Смотреть на мир научно, значит видеть в нем механизм, устройство которого мы знаем не полностью, однако со временем сможем узнать. Тогда мир станет управляемым, человек воистину станет «яко Бог»... и будет сходить в могилу, удовлетворенный властью над звездой и над мельчайшей песчинкой. (Словом, это то, о чем с таким подъемом писала научная фантастика прошлого века, в особенности Лем и братья Стругацкие. Не касаюсь здесь вопроса о том, насколько всевластие способно дать человеку счастье. Лично я в этом очень сомневаюсь.) Иными словами, научная картина

мира — картина, не имеющая фона. Здесь всё — на поверхности; всё неизвестное заключено в уже известном, и нет такого слоя, на котором нельзя было бы разглядеть очертаний картины в целом. Научно понимаемый мир, можно без преувеличения сказать, есть мир без тайны.

Думаю, даже картонный меч не следует поднимать против этой фантазии. Это так же неправдоподобно, как учение Руссо об природной доброте человека, как вера в неподверженное заблуждению «большинство голосов», как «исторический материализм» в качестве последнего объяснения общественного развития... Однако вера в это неправдоподобное выросла и ныне господствует над умами; догмат отсутствия тайны, если так можно сказать, не подвергается сомнению. Соблазн наших дней — ложное всеведение, вера в науку, как обладательницу знания обо всём. Нет глупости или нелепости, которую нельзя было бы ввести в обиход, снабдив ее словами: «наукой доказано». Исчезновение тайны уничтожило умственный горизонт и связанное с ним чувство перспективы. Тайна была таким горизонтом, по мере приближения к которому все умственные представления умахались, меркли в тумане, чтобы постепенно сойти на нет. Чувство неведомого на горизонте облагораживало ум, предохраняя его от самообмана.

К. Леонтьев некогда недобро шутил об исследовании «нервной системы морского таракана» как образцовом примере получения ненужных познаний, и предсказывал время,

когда тяга к подобным исследованиям пропадет. Но в «таракане» ли дело? Исследования мельчайших мелочей сами по себе не дурны и не хороши — до тех пор, пока мы признаём непознанное и непознаваемое. То самое солнце непознанного на горизонте придает смирения исследователю, пока он его видит. В наше время с Леонтьевым приходится согласиться: со времени изгнания из мироздания тайны пресловутая «нервная система морского таракана» приобретает совершенно чуждое науке, добавочное значение еще одного подтверждения человеческого всеведения. «Если и это знаю — что мне не открылось?»

Всё это не так смешно, как это может показаться. Свобода, с которой исследователь наших дней простирается в прошлое, в будущее, обобщает и выводит законы, выглядела бы необъяснимой для позитивиста прошлых времен, который, может быть, осуждал христианство за его догматическое, т. е. критически непроверяемое и невыводимое содержание, но и сам избегал всякого вывода, не подтверждаемого положительными фактами. Позитивист был, так сказать, ограничен признаваемыми им самим правилами игры, и потому мог отважно сказать о мировых тайнах: «Ignoramus et ignorabimus!», «Не знаем и не узнаем!» (Эмиль Дюбуа-Реймон, 1880). Современная мысль имеет другую задачу: не допустить самой мысли о тайне, тем более о непознаваемой.

Что нельзя объяснить, то можно спрятать. Целый ряд вопросов (происхождение жизни, развитие животных видов,

возникновение человека, душевная жизнь) изъят из обсуждения. По отношению к ним всемогущий опытный метод бессильен; они не обладают «повторяемостью при тождестве условий» — непременным свойством всего, что может быть уловлено в сети закона; поэтому все эти загадки считаются как бы решенными — т. е. условно объясненными на основании некоторых недоказуемых предположений или сравнений (работу сознания, например, сравнивают с работой вычислительного устройства; деятельность «естественного отбора» — с усилиями конструктора или изобретателя). Нет мироздания без тайн — есть только видимость, привычка не смотреть на темные, незакрашенные места картины.

III. Наука и скепсис

Об ученом думают, что он, говоря бытовым языком, всё проверяет и ничего не принимает на веру, т. е. «во всём сомневается». Думаю, что это не так или не всегда так. С одной стороны, сомневаться во всём неплодотворно, т. к. у нас просто нет времени на то, чтобы всё перепроверять и доказывать. С другой стороны, ученый множество вещей принимает на веру, и я надеюсь показать, что таких вещей в его умственном обиходе даже больше, чем мы думаем. И, наконец, дело не в том, чтобы упорно твердить: «Не верю!», а в том, чтобы найти в достаточной мере надежные признаки достоверных суждений, которые позволяют сократить число возможных ошибок, но не устранить их совсем. Этот последний путь есть путь философии.

В повседневном языке, правда, в слово «философия» вкладывается что-то гораздо большее, высокое, почти божественное... В философе мы хотим видеть мудреца, учителя, часто — учителя религиозного. В действительности, на философии не лежит, или редко лежит, этот волшебный отсвет (хотя философы от древности и донныне многое делают, чтобы его поддержать). В действительности, повторяю, философия, как это ни грустно, не открывает нам истин. В лучшем случае, она может дать навыки хорошего, правильного мышления; мышления, которое помогает избегать ошибок,

но выводы философски вооруженной мысли не имеют общеобязательной силы. Возможно более одного верного, то есть внутренне непротиворечивого, философского воззрения. На рынке философии, как мы все знаем, множество продавцов, каждый из которых предлагает покупателю свою выдержанную и последовательную систему, и ни одна из этих систем не утверждает, будто не может объяснить всего. Напротив, все они скромно притязают на истолкование мироздания...

Можно сказать, что философия относится к мысли как совесть — к воле; иначе сказать, философия есть совесть мысли. Как раз поэтому она не может быть источником истин — только ключом для проверки. Учительная роль прежних философов, при пестроте и несогласимости их учений, привели к естественному восстанию мысли против философии, во имя «здравого смысла». Как и следовало ожидать, здравый смысл не пережил этого восстания и лег в одну могилу с философией. Мысль, в конечном счете, осталась без руководства, т. е. без совести. Таково нынешнее положение дел.

Но вернемся к ученому. Не в силах во всём сомневаться, оставленный без философского руководства, что может он сделать со множеством фактов и суждений, которые нужно либо принять, либо отвергнуть? Насколько можно судить, он выбирает средний путь. Целый ряд идей он отвергает исключительно и бесповоротно — не потому, что он подверг их проверке и нашел недостоверными, но потому, что шко-

ла научного мышления, к которой он принадлежит, не знает, что с этими вещами делать, не находит им применения в научном обиходе и потому отвергает. Не стоит и говорить, что все эти вещи относятся к области человеческого, то есть духовного или, иначе говоря, религиозного. Другой ряд идей он принимает в полном смысле слова на веру, так же религиозно, от поколения учителей.

Никто, впрочем, и не ожидает от молодого человека критической проверки господствующих в науке мнений. Не в интересах какой бы то ни было школы воспитывать критиков, мыслителей, которые вместо победоносного применения усвоенного метода будут тратить усилия и время на его критику с целью возможного обоснования или отвержения. Лицо науки в этом случае было бы совсем, совсем иным, чем мы его знаем, но это бы не была любезная современному государству производящая наука. Это была бы, в основном, чистая мысль, прикладное применение которой затруднено и редко возможно; словом, нечто ненужное всесильной покровительнице науки наших дней — государственной власти.

Где же здесь место научному скепсису? Места ему остается не так много. Отвержение всего выходящего за пределы материалистического (оно же механистическое) миропонимания нельзя называть «скепсисом», т. к. скептицизм предполагает сознательное отношение к предмету. Отвергая то или иное на исключительно догматических основаниях, мы не делаемся скептиками — мы просто остаемся хорошими

догматиками. Ученый может быть сознательным скептиком только по отношению к собственной специальности, в которой он чувствует себя относительно твердо; но даже здесь скепсис трудно отделим от умственной привычки, в силу которой новые мысли отвергаются без рассмотрения. Что же касается суждений о чуждых ученому областях, здесь возможно приятие любых чудес, лишь бы они были по возможности научно выражены. Осознанному скепсису и здесь не находится места...

Наука — говорю это вполне бесстрастно — не менее и не более догматическое учреждение, чем другие. Никакой особенный скептицизм ей не свойствен, за исключением того, какой воспитывается философией в указанном выше смысле. Философия не открывает нам истин. Тем менее может нам открывать их наука, в особенности та, которая не прошла философской школы. Такая наука в высшей степени склонна к построению собственной догматической системы, первый признак которой — недоказуемые и непроверяемые утверждения о причинах и целях вещей. Ученому, который, сверх изучения повседневных, повторяемых и подтверждаемых повторением фактов, утверждает и что-то еще, например, притязает на создание новой этики или эстетики, следует откровенно сказать, что занимается он метафизикой, что дело это древнее и почтенное, но что прежде, чем приступить к нему, следует условиться с самим собой о смысле фактов, о достоверности предположений, о критериях исти-

ны — словом, вернуться в покинутую наукой философскую школу. Пока этого возвращения не произойдет, о науке можно будет говорить, что она во вражде не только с религией, но и с философией, то есть с разумно обоснованным скептицизмом.

IV. Полунаука

Уже Достоевский говорил о господствующей силе наших дней, которой все поклонились, имя же ей — полунаука. Достоевский нигде не уточняет, что именно имеет в виду, но уточнения и не нужны. Рождение полунауки — в сумерках, там, где заканчивается роскошь стремления к истине и начинается ремесло получения выгод. Во времена, когда в России господствовали большевики, в науке видели исключительно силу хозяйственную, источник благ, необходимых для мира и для войны. В сущности, точно так же смотрел на нее и «свободный Запад» тех лет. Одним словом, в XX веке оба мира, «свободный» и «несвободный», говоря о науке, подразумевали именно полунауку: служебную силу, не обладающую независимой нравственностью, тем более — мировоззрением. Мировоззрение закончилось вместе с XIX веком, эпохой большой внутренней свободы, сопряженной с известными внешними ограничениями.

Это, может быть, нуждается в разъяснении. Большинство полагает, что только XX столетие раскрепостило человека окончательно; венец последнего освободителя народов оспаривают друг у друга социализм и либерализм, один на Востоке, другой на Западе... Старый порядок требовал уважения к известной иерархии ценностей и лиц, но оставлял большое место личной, умственной независимости. Вкратце ска-

зять, свобода лица ограничивалась, но независимость оберегалась. В противоположность этому, новейшая эпоха даровала личности «свободу», более или менее воображаемую, отобрав у нее даже тень независимости. Это коснулось воспитания, образования, умственного развития...

Нет, даже иначе нужно сказать. Новейшее время, разумеется, не дало и не могло дать личности какой-то «свободы вообще». Всё, что оно могло сделать, это уничтожить ряд прежних запретов или, более того, объявить предосудительное похвальным. Нельзя дать «свободу вообще», но можно дать свободу не ходить в церковь; свободу кощунствовать; свободу проповедовать безбожие; свободу разрушать принятые формы общественной жизни... до известного предела, конечно. Личности была дана свобода вредить личности же, то есть себе самому или ближнему своему, но никак не государству.

Казалось бы, какое дело до общественных переворотов и вновь дарованных «свобод» человеку науки? Как выяснилось — самое непосредственное. Одним из главных завоеваний новейшего времени было выведение из общественной и личной жизни христианства, даже в тех внешних и поверхностных формах, какие были ему присущи в последние два столетия. Ушло христианство — ушла и нравственная почва под ногами. Вдруг, почти в одночасье, всё стало возможно; по меньшей мере, всё, чего хочет Кесарь или всесильное государство. «Личное своеобразие», те мелкие «причуды»,

на защиту коих уповал Дж. Ст. Милль, стушевались по сравнению со «своеобразием» и «причудами» государства, которое наконец освободилось от «предрассудка» о своем божественном происхождении и обнаружило, что предел его возможностям ставят только его силы. Ассирия и Вавилон воскресли и вышли на битву; только так можно описать превращения, испытанные государствами новейшего времени. Вернейшим слугой и необходимейшим союзником новых империй стал человек науки. Древний союз государства с Церковью был расторгнут; Наука стала на ее место, и первое, чего от нее потребовали, был меч.

Науке пришлось служить. А поскольку высшее образование, по мере своего распространения, производит всё уменьшающееся число творцов и всё растущее число исполнителей — в служителях не оказалось недостатка. Не в интересах какой-либо научной школы, как я говорил выше, воспитывать самостоятельно мыслящих критиков. По мере того, как наука и мысль расходятся дальше и дальше, всё большее число ученых занимается делом, которое не требует умственной независимости и умственных усилий вообще. Их царство и есть царство полунауки, иначе сказать, умственного ремесла.

То, что я говорю, звучит смертельно обидно для некоторых, но я вижу факт и указываю на него, никого не желая обидеть. Профессионал пришел и сюда, и под его руками наука из творчества стала ремеслом. Профессиональная наука

не ищет ответов на Великие Вопросы, чаще всего (по темным, чисто психологическим причинам) полагая эти вопросы либо разрешенными, либо не заслуживающими внимания, либо несуществующими; вместо этого она служит решению задач, поставленных земными властителями.

О великих вопросах я не зря упомянул. С тех пор, как ученый расстался с каким бы то ни было широким мировоззрением — а это произошло одновременно с его освобождением от христианской морали — у него, совершенно естественно, пропал вкус ко всему, что не уместится в лаборатории. Впрочем, эта утрата вкуса к метафизике как-то необыкновенно уживается (необыкновенно, но естественно — вспомните, что я говорил о гибели философии как школы добросовестной мысли) с тягой к произвольным, широким и довольно фантастическим построениям, якобы оправдываемым опытными данными. Я говорю, конечно, о метафизических теориях Маркса, Дарвина, Фрейда, этих трех столпов современной не метафизики даже (потому что метафизикой, как правило, занимаются искушенные философски умы), а мифологии. Метафизикой эти построения нельзя назвать и потому, что из них при всём желании нельзя извлечь ничего такого, чем человек мог бы руководствоваться на этом свете; марксизм или фрейдизм не могут быть источниками какой бы то ни было этики, хотя марксист или фрейдист в своей жизни может придерживаться (так сказать, контрабандой) правил христианской нравственности... Настоящая ме-

тафизика есть учение не только о том, что происходит с миром, когда мы не можем за ним подглядеть, но и о том, каков смысл этих происшествий, в число которых входят и наши жизнь и смерть.

Мифология, которой руководствуется деятель полунауки, показывает нам величественные призраки Эволюции, Естественного Подбора, Либида и Классовой Борьбы, но действия этих призраков не имеют никакого смысла, у драмы нет содержания, зрители роятся среди призрачных декораций, как мошкара в летний день. «Научно обоснованная нравственность» есть нелепица, поскольку наука — в ее современном виде — в первую очередь утверждает, что мир ни на чем не основан. Что не имеет основания в своем начале, то безосновательно до конца. Разделавшись таким образом с понятием нравственности, человеку науки (или, как мы условились говорить, полунауки) приходится, однако, в интересах повседневной жизни придерживаться некоторых правил — как правило, извлеченных из давно отброшенной христианской морали, за одним исключением: его обязанности по отношению к государству не управляются никакими высшими правилами. Здесь всё дозволено. Становится ли ученый плохим ученым от того, что его совесть умолкла? Увы, нет; но если и умственная совесть, т. е. умеренность в недоказуемых утверждениях, в нем ослабела, то от науки он скатывается к полунауке, и не останавливает своего движения, пока не достигнет области самых темных суеверий: об-

ласти лженауки.

Лженауку принято рассматривать как темную тень, отбрасываемую научным познанием; как грязь, в которую скапливаются неспособные к научному мышлению; как обезьяну, подражающую движениям ученого. Всё это отчасти верно, но оставляет в стороне главное: лженаука производится не злонамеренными или падшими личностями; она — дитя науки и общества в том плачевном состоянии, в котором мы их застали. Общество это отличается, как я уже сказал, устранением религиозной жизни (при неустранимости религиозной потребности); утратой общепринятой нравственности, включая нравственность добросовестного мышления — за что расплачивается состоянием крайнего легковерия, в особенности по отношению к предметам, имеющим клеймо: «доказано наукой».

В наши дни, говорил Г. К. Честертон. «ученые начинают писать слово «Истина» с заглавной буквы». Честертон прав: это плата за обостренное внимание общества, оставленного без независимых источников истин (какими были когда-то религия и философия). Даже скромная и самоотверженная наука... впрочем, я не знаю такой. Говорят, такая была когда-то прежде. Словом, даже люди, занятые таким важным и сложным делом как современная физика, не забывают, при удобном случае, напомнить нам об «Истине» — не физической, а метафизической, то есть такой, например, которая исключает Бога, душу и смысл жизни, а уж совесть и подав-

но. Это, кстати, те же самые люди, которые обещают нам царство «научно обоснованной нравственности» — не видя в том никакого противоречия... Если эти люди не удерживаются от соблазна, что говорить о более слабых. Одни из этих слабых откровенно тянутся к вере, но боятся даже мысли о Боге. Других притягивает колдовство, и они украшают свои заклинания учеными словами. Лженаука — не «чертик из табакерки», не злонамеренные происки, но только видимый знак того, что общество неспособно жить одним рациональным мышлением, одной наукой — не потому, что умственные способности общества так незавидны, но потому, что наука не всеобъемлюща, не охватывает всего сущего и не удовлетворяет всех потребностей человека.

V. Личность и неудача

Думаю, не будет большим преувеличением сказать: цельная личность — почти то же самое, что неудачник. Успех личного развития и успех в современном обществе явно противоположны. Цельная личность, как известно, хочет прежде всего сохранить единство в отношениях к себе и другим, остаться верной собственным, а не снаружи навязанным мыслям. Такой характер — залог жизненной неудачи. Верность самому себе никому не нужна; неизменно велик спрос на верность другим, в нашу эпоху больших денег и маленьких людей — в особенности. Быть личностью — роскошь не для слуг; в то время как, к сожалению, нужнее всего в нынешнем обществе слуги. Отказавшись от всех и всяческих авторитетов, ценностей и святынь, демократическое общество сохранило одну власть, один предмет поклонения, один источник ценностей: деньги, которым оно и служит. Общество, по сравнению с прошлым, стало куда однороднее, в нем всего два (или два с половиной) класса: те, у кого деньги есть, те, у кого денег нет, и узкая переходная полоса между первыми и вторыми. Одни — хозяева, другие — слуги, третьи — слуги, которые готовятся стать хозяевами. Нет, я не социалист. Я просто не вижу в этом простом, очень простом обществе места для человека. Чтобы служить, личность необязательна и просто вредна. Чтобы пользоваться услугами дру-

гих — тоже.

Когда в России правили большевики, они много говорили о «развитии личности», что не мешало им, конечно, угнетать умственное развитие этой личности — вернее, формировать ее по методу уэллсовских селенитов, посадив в бочку «единственно-верного мировоззрения». По форме этой бочки и развивался ум — неспособный, после такой обработки, к восприятию высшей культуры. Достаточно посмотреть, какую литературу породила социалистическая эпоха: что ни говори, ни одного имени из нее не перейдет потомству. Ни одного, в том числе из имен борцов против самой этой литературы. Но если личности был поставлен известный (и не очень высокий) потолок, то и опускаться ниже известного уровня, становиться на четвереньки ей всё же не предлагали, более того — запрещали. С уважением повторялись восторженные слова чеховского героя о прекрасном в человеке, из которых, однако, невинно вырезалось одно, но важнейшее слово — слово «душа». И надо признать, что Россия тогда не была — вопреки западному предрассудку — страной безликих и злобных роботов. Надо даже сказать ужасную вещь: если отставить в сторону излюбленные русской интеллигенцией моральные оценки, социалистическая Россия после конца кесаризма (1956) была обществом более здоровым, чем то, какое нам сейчас предлагают как «образцовое». В этом обществе никто не отрицал существования истин и ценностей как таковых; однако не высшие ценности в нем господ-

ствовали, но их сниженные, упрощенные, обедненные отражения, взятые из морально-утилитарных прописей старой русской интеллигенции, с добавлением религиозно понятого служения Государству — идолу на месте Бога. Этого не было у прежнего русского интеллигента; государство было ему чуждо и непонятно. За это равнодушие и расплатились его потомки, получив себе идола, требовательного и ревнивого... Но сейчас я говорю о другом: ценности того общества могли быть ложными, так как основывались отчасти на полуйстинах, отчасти на языческом культе государства, но они всё же существовали. Перед личностью открывался определенный путь развития (не только личного обогащения или, говоря словами той эпохи, «профессионального роста»), на котором, правда, ее стерегло неизбежное столкновение с государством, его верованиями и моралью — поскольку никакой области, свободной от государственного вмешательства, в революционной России не было. Не было культуры — области, которую можно было бы назвать домом всякой высоко поднявшейся личности. Вместо нее была насаждаемая попечительными усилиями государства образованность, в основном — техническая, что совершенно не то же самое...

Ни этих попечительных усилий, ни тех ценностей теперь нет. Всё упразднено революцией 1991 года. Было ли это неизбежно? Я сомневаюсь. Деятели 91 года могли пойти и по иному пути. У них, собственно говоря, было три возможности. Первая — сохранить преемственность с прежним по-

рядком и продолжить его дела (более или менее осторожные реформы). Вторая — разорвать с революционной традицией и возглавить консервативный поворот, то есть возвращение к национальным святыням и ценностям, погубленным революцией 1917. И третья, самая опасная — начать новую революцию, на этот раз — либерального характера. Под несомненным давлением со стороны Запада, по несомненной склонности русской интеллигенции ко всему либеральному, да еще и в силу исключительно русского понимания либерализма как беззакония, они выбрали третий путь: путь к обществу, из которого изгнано само понятие нормы. На место умственной, нравственной, культурной нормы в этом обществе стал успех, в погоне за которым, как я уже сказал в начале, личность — только ненужная, замедляющая бег помеха. Ссылка на западный образец — единственное, на все случаи подходящее спасительное оправдание современной русской власти — ничего не значит. То, что и там личность поставлена в узкие, теснейшие рамки «профессиональной деятельности» в погоне за успехом, говорит только о том, насколько далеко Запад ушел от собственных идеалов свободного и высокого личного развития...

Личность и неудача связаны в современном обществе теснейшим, самым близким образом. Где есть одна, там и другая. И повинна в этом либеральная мечта — мечта об освобождении человека от норм и идеалов, о свободном труде ради неограниченно растущих прибылей, о мире без запретов

и ограничений. Все эти вещи, против которых восставал — в конечном счете, успешно — либерализм, оказались формой, огранкой, пределом, без которого нет самой вещи, им ограничиваемой: нет личности. «Освободить, лишив пределов и ограничений» — значит убить. Так смерть освобождает душу от ее земного предела. Так либеральная мечта освободила личность.

VI. «Научная фантастика» как мировоззрение

«Научная фантастика» — почти забытый род литературы. Ее корень в марсианах и селенитах Г. Уэллса и в роботах К. Чапека; ее расцвет — между двумя мировыми кризисами: концом второй всемирной войны и концом русской революции. В это мирное время фантастика занимала в литературе исключительное место: в первую очередь, конечно, место современной мифологии, но также и философии, даже своеобразной метафизики. Фантастика трактовала обо всём — в первую очередь, о человеке. В этом, кстати, первый признак философского творчества, первейший философский вопрос. «Что есть человек?», «Что такое я сам?» — с этого всегда и везде начиналась философия. Отвечала на этот вопрос и «научная фантастика», однако не путем рассуждения, не путем изучения человека, а путем воображаемого опыта, который ставился над человеком во множестве фантастических книг. «Что будет, если поставить человека в такие-то и такие-то воображаемые обстоятельства», спрашивал себя писатель. Нет нужды, что обстоятельства, которые с особенной охотой избирала фантастика, были, как и следовало ожидать, фантастические. Самое фантастическое освещение не мешало рассматривать человека — не того, од-

нако, который есть, был, и будет, а того, которого видели и представляли писатели той поры. Когда братья Стругацкие не без иронии говорили о «мире гуманного воображения» и «мире страха перед будущим», они были правы относительно своей эпохи, но не представляли себе, что эти два мира, два понятия о человеке, скоро сольются в один... Вначале это разделение явственно и ярко; оно совпадает с политической границей между Востоком и Западом. Через некоторое время, когда революционная вера иссякнет и на Востоке, это разделение исчезнет. «Восточные» станут такими же, если не большими, пессимистами в отношении всего человеческого. «Научная фантастика», порождение гуманистической философии, произнесет гуманизму приговор.

На самом деле, философия, выраженная в фантастической литературе, совершила свое течение очень быстро. Конечно, в общих чертах она выражала старое гуманистическое воззрение, которое можно свести к крайнему оптимизму относительно человеческой природы. Как заметил один современный автор, «в своих границах гуманистическое мировоззрение совпадает с либеральным». Совершенно верно: либералы просто выражают гуманистическую мечту деловым (относительно!) и кратким образом: «Человеческая личность, предоставленная самой себе и освобожденная от всяких ограничений, в особенности идеального, духовного, нравственного характера, имеет все основания достичь процветания и полного совершенства. Общество, не желающее

ничего знать о добре и зле, преследующее только материальные цели, всем своим могуществом обязанное науке, есть лучшее и окончательное общество из всех, бывших на земле. Могущество его бесконечно, а власть нерушима. Ему принадлежат небо и звезды».

Я, может быть, зря сказал о «деловом», т. е. серьезном и беспристрастном, изложении. Либеральная, гуманистическая мечта есть именно мечта, не случайно я закончил ее краткое выражение словами «небо и звёзды». Самый трезвый либерал есть законченный мечтатель, знать не желающий действительности, верный только своей мечте... Умственное содержание научной фантастики вполне выражало эту старую мечту, однако если западные мечтатели верили в личность, вполне освобожденную от запретов и ограничений, в конечном счете — от себя самой, то на Востоке, где революция убила христианство, но сохранила его ценности (хотя бы отчасти), верили в личность, не лишенную святынь и убеждений, но эти святыни и убеждения, конечно, приемлемую от Науки. Это было тем проще, что революция давно прикрывала себя плащом научности, обманув еще Розанова, который воскликнул: «Наука и революция — одно!» Чувствовать себя марксистом и ученым, сторонником Маркса и сторонником мысли в России после 1917 было нетрудно... За этим исключением, западные и восточные мечтатели были вполне согласны. И те, и другие исходили из мысли о всемогущем человечестве — и выводили ему навстречу

пришельцев из других мест и времен.

И что же произошло? Фантастика, исходя из мысли о всемогущем человечестве, очень быстро, на протяжении каких-то двадцати с небольшим лет, пришла к мысли о том, что это всемогущество человеку не нужно. Призрак «и будете яко бози» развеялся очень быстро. Писатели, которые начинали с крайней бодрости в отношении человечества и его будущности, перешли затем к крайней мрачности. Если вначале они утверждали, будто нет ничего выше человека, то очень скоро заговорили о воинственных или мирных пришельцах, которые человека во всём превосходят и должны явиться на землю, чтобы возвысить его до себя или покончить с ним вовсе. Фантастическая литература Востока (как и выше, имею в виду «политический» Восток) долгое время сохраняла бóльшую безмятежность и искала себе событий и героев исключительно на земле, то есть думала собственно о человеке, а не о том, как его улучшить или с ним покончить. Одним словом, она верила в человека, то есть сохраняла нетронутой меньшую, но необходимую часть веры в Бога. Эта вера позволяла ей рассуждать не о том, как и когда погибнет человечество, а о том, как и когда оно преодолееет свои страсти. (Что было, конечно, бессознательно христианской постановкой вопроса. Братья Стругацкие в «Хищных вещах века» даже прямо цитируют старца Зосиму, слова его о «ненужных потребностях».) Впрочем, вместо «Востока» лучше прямо говорить о России. Уже у Ст. Лема не было

присущих бр. Стругацким (в своем роде, конечно) христианских корней. Христианство было для него только почвой, от которой следует оттолкнуться. Никаких мечтаний о преобразовании человека и человечества, никаких особенных надежд на будущие перемены к лучшему у Лема найти нельзя. Одно время он верил в науку, в справедливое, удобное, практическое общественное устройство; вскоре, однако, он понял, что наука сильна, но безнравственна; что практическое общественное устройство не только может, но и должно оказаться бесчеловечным общественным устройством; что техническое всемогущество ни к чему слабому, страстному, ошибающемуся животному — человеку.

Я думаю, что и Лем, и Стругацкие как-то странно, боком, по касательной прошли близко от христианского представления о человеке и человеческой истории. Развитие как преодоление страстей (включая в это понятие страсти общественные, больше всего доступные для марксистского ума) — идея сугубо христианская. Первородный грех — как иное название для того загадочного отклонения, которое из любой строяемой человечеством башни делает развалины; отводит любое движение от его цели; нарушает единство намерений и достижений — смутил Лема, только ему было ненавистно это название. Лем даже сознательнее русских мечтателей, потому что образованнее и злее, чем они. Лем, например, твердо знает, что главное зло в человеческой истории — это религия; что единственное добро — это наука;

и не устает (не уставал, вернее) высмеивать Церковь (да и философию) в своих ранних книгах. Внимательный читатель легко заметит у Лема это беспрестанное подтрунивание над верой и мыслью. Стругацкие, конечно, тоже слышали, как вредна и как опасна Церковь, ведь написали же они карикатурную, с точки зрения истории и просто здравого смысла, повесть «Трудно быть богом» (кстати, заглавная буква в последнем слове этого названия неуместна. Речь здесь, скорее, идет о герое, языческом божестве, могучем, умном, но — не всеблагом). В этой повести, действие которой происходит на далекой, но похожей на Землю планете, Церковь, в союзе с воровскими шайками и «толстопузыми лавочниками», устраивает в некотором государстве «фашистский переворот». Я назвал бы эту повесть «антиисторичным бредом», если бы она не была бойко написана и не читалась юным читателем, для которого и назначалась, с непреодолимым интересом. «Лавочники», «разбойники», Церковь — и «фашистский переворот»! Воистину, надо было принять на веру все хитросплетения «партийного курса», чтобы породить такой ералаш... Но в том-то и дело, что всё это — ералаш, детские игры, которым недостает серьезности мрачного отрицания, пропитавшего произведения Лема...

Как бы то ни было, в конце 60-х годов XX века туман вокруг русской революции и созданного ей общества стал рассеиваться. Разочарование в этом обществе и его возможностях разрушило много мировоззрений и надежд, в том чис-

ле те, которыми питалась фантастическая литература. В конце концов, утопическое мировоззрение (в том числе мировоззрение социализма) есть в первую очередь вера в благотворность известной общественной механики; в совокупность материальных приемов, следуя которым, можно построить идеальное общество — забыв о противоречивой, внутренне расколотой природе человека; больше того, выведя эту природу «за скобки». Надежды на «новое общество» не оправдались. Общество, построенное революцией, было ни новее, ни лучше предыдущих; оно обладало старыми, как мир, пороками без новых добродетелей. Там же, где добродетели всё-таки оказывались, они, как назло, происходили от старых (национальных и христианских) культурных корней и ничего нового в себе не имели... Страстное, ошибающееся, склонное одновременно к вере и сомнениям существо — человек — опять оказалось на свободе, а его будущее — без всяких обеспечений и ручательств. Этого фантастическая литература пережить не смогла; не умея и не желая благословить свободу, она прокляла человека — и перешла к описанию его будущих несчастий, чем, собственно, и исчерпывается содержание фантастики наших дней. Ничего «научного» в ней нет, потому что она больше не верит в науку. Она больше не мировоззрение, или выражение какого-либо мировоззрения, но только игра пессимистического и временами весьма извращенного воображения. Короткое время этой литературы прошло.

VII. Богатство и свобода

В отношении западного общества, как правило, признак смешивается с причиной. А именно, спокойствие и богатство этого общества выводятся из его приверженности «правам и свободам личности», хотя приверженность эта — признак, а не причина. Может быть даже и так, что сила и богатство западного мира только и позволяют ему терпеть широко раскинутые «права и свободы»... Во всяком случае, там, где видят ответ, на самом деле скрыты вопросы. Частная предприимчивость не терпит стеснения, это верно; но эта предприимчивость и прежде не стеснялась на Западе — так здесь ли причина благополучия? В «господстве среднего класса» тоже видят благодеяние, но почему господство «адвокатов, врачей и буржуа», как говорил К. Леонтьев, должно быть особенно благотворно? Тем более, что в наше время речь идет даже не о самих «адвокатах, врачах и буржуа», а о классе их наемных «представителей», о пожизненной и несменяемой аристократии денег и выборов... Где же причина? Что же на самом деле происходит в западном мире?..

Что мы увидим, если присмотримся к этому миру повнимательней? Первое и самое заметное: на Западе больше нет сильных и влиятельных общественных движений. То движение, которое можно назвать уравнительным; которое требовало передать низшим классам права высших, а высшим —

обязанности низших, после двухсотлетней борьбы достигло своей цели. Если на Западе есть общественная борьба, то цель ее — еще более равномерное распределение свободы, еще большее уравнивание. (Ведь борьба за «свободу» есть по существу борьба за ее равномерное распределение, конечным итогом которой может быть весьма и весьма неуютное общество, где вся бывшая в наличии свобода распределена поровну, и на каждого приходится совсем немного.) Последняя цель последних общественных движений — окончательное уравнивание, совершенно однородное общество...

Нельзя не задуматься над причиной этого удивительно-го влечения. Принято считать, что в начале нового времени массы наконец «пробудились» и потребовали для себя тех же прав и возможностей, которыми прежде пользовались их правители. Вот уже двести лет народы шумят о «свободе, равенстве и братстве», причем, как показывает опыт, ни равенства, ни братства больше не становится, а что до свободы — то она то есть, то нет. Думаю, не будет ошибкой сказать, что пресловутые «свобода, равенство и братство» суть искаженные, уплощенные и упрощенные идеи христианства. Иначе говоря: в этом девизе воплощено то, что атеист может вычитать в Новом Завете.

Могут сказать: «Что из того? Атеисты были и прежде, и даже Новый Завет временами попадался им в руки, однако ничего подобного французской и русской революциям всё-таки не случалось». Совершенно верно. Прежде не было той

соломы, которую зажгла свеча «просвещения», а именно — многочисленного и не обремененного общественной ответственностью полуобразованного сословия. До начала нового времени образованность жила в среде, которую отличало смирение, то есть в Церкви. Невозможность распространить культуру на всех, то есть создать полуобразованное общество «массовой культуры», приводила к резкому размежеванию ведения и невежества. Середины между ними почти не было; говорю «почти», потому что на самом деле темная область между образованностью и невежеством существовала и в средневековье: именно там зарождались ереси, предшественницы нынешних лжерелигии и лженауки. Только с переменой обстоятельств зародился состоятельный, многочисленный и самонадеянный класс, который, не занимаясь никакими науками или искусствами, а также не управляя государством, считал себя способным судить о науках, искусствах и политике... (Нам, русским, легко узнать в этом описании Милюковых и Керенских.) Его-то и подожгла свеча «просвещения». Что же касается «масс», то они приняли в событиях посильное участие, которое выразилось в том, к чему «массы» наиболее способны, то есть в погроме.

Некоторым может показаться, что я рисую карикатуру на просвещение и революцию. Никоим образом. Если сами события карикатурны, то не я вложил в них эту черту. Движение ко всеобщему уравниванию было исключительно умственным движением, это невозможно опровергнуть; массы при-

няли в нем участие не потому, что были «измучены проклятым старым порядком», но потому, что усвоили внушения среднего класса. С тем же самым успехом удавалось поднять массы и прежде — ради той или иной ереси или, наоборот, ради похода против неверных. Вообще участие масс в некотором движении не придает ему ореола святости, но только говорит о силе и успешности пропаганды, лежавшей в основе этого движения.

Прежние светские и духовные власти надмевались сверх меры — нет спора; но о самолюбивом гражданине новейших времен можно сказать то же самое: он надмевался не по заслугам. В наборе новейших идей вообще не было мысли о качественном отборе, о правах, даруемых по достоинствам. Средневековая Европа знала эту мысль. Собственно, происхождение политической свободы в Европе таково: свобода есть право, даруемое заслугой. Ценнейшая служба дает наибольшую свободу. Новое время противопоставило этой мысли другую: свобода есть прирожденное право; заслуга ничего не значит. Если же заслуга ничего не значит — общество должно стать обществом равных. Большевики отличались от прочих только своей последовательностью. Ум, дарование также ничего не значат, следовательно, никакого особого уважения к их обладателям быть не может; в конечном счете и уважение к личности они признавали излишним. «Править должна идея», сказали большевики. «Править должна личная прихоть», ответили им на это либералы.

Социальная и либеральная утопии — два лица новообретенной свободы. Или подчинить общество железной идее, или отпустить узду и рассвободить личную предприимчивость и личную прихоть, в надежде, что «кривая вывезет». Большевики, по существу, пытались возродить старое общество, старую власть умственного и правительственного авторитета; либералы старались от такой власти как можно дальше уйти. Дж. Ст. Милль говорит, что «политическую свободу» понимали и древние народы, а «умственная свобода» стала доступна пониманию только в наши дни. Для большевика эта неограниченная умственная свобода была вредной роскошью, для либерала — знаменем. Как показал последующий опыт, победа большевиков в России действительно создала (пусть и не сразу) общество, в некоторых отношениях ближе стоящее к «старому миру», чем общество либерального Запада. В нем были и ценности, и неравенство, и духовные авторитеты. Вообще, как я уже говорил, русские социалисты никогда не читали К. Леонтьева, но выполняли сформулированные им социологические задачи...

Однако я далеко ушел от начальной мысли. Важно то, что с течением времени на Западе победила мечта об освобожденном от умственных, духовных, нравственных, политических авторитетов обществе, в котором равные во всём, кроме ценности своего имущества, граждане состязаются за возможно бóльшую долю счастья, то есть материального успеха. По мере всё более равномерного распределения свобо-

ды, по мере всё большего умственного и нравственного уравнивания масс Запад пришел к невиданному в истории общественному миру, к обществу, в котором нет не только сословных перегородок, но и сословных противоречий, состоящему из людей одного умственного, нравственного, культурного уровня, властители которого отличаются от подданных только величиной счета в банке... Аристократия есть, и в то же время ее невозможно увидеть. Ни раззолоченных карет, ни шпаг на боку — только уходящая в бесконечность лестница «преуспевания», по которой каждый, будто бы, может пройти. Неудивительно, что это общество отличается необыкновенной устойчивостью. Нет общественной розни — но нет, собственно говоря, и общества, только (с позволения сказать) общежитие уединенных личностей. Настоящее общество — сложное и часто внутренне противоречивое единство. Настоящее общество отличается, например, существованием общественных интересов, общественных движений — которые в самых развитых странах Запада едва заметны и ограничиваются, как я уже сказал, защитой права личности на уединение или требованием ее дальнейшего уединения. Настоящее общество многослойно; между его слоями есть напряжение: притяжения и отталкивания, стремление вверх и возможность падения вниз... Всё это кончилось. Нет больше, как это ни странно для современного слуха, основы для плодотворного неравенства. Личность, совершая свой общественный путь, не может рассчитывать на возвышение,

как и на падение. Нет лестницы, по которой она могла бы взбираться и с которой она могла бы упасть, и единственное, что отличает гражданина от гражданина — это деньги, как мера достигнутого успеха. Последним и единственным способом выбиться из своего окружения, выйти из общей колеи осталось приобретение денег, денег и еще денег. Такой ценой купил Запад свой общественный мир. Не удивительно, что все силы «освободившегося» общества оказались направлены на достижение этого жизненного успеха.

Мы вернулись к вопросу, с которого я начал эту статью: свобода и богатство живут рядом; связь между ними или простое соседство? Посмотрим снова на западное общество наших дней. Как описать его в нескольких словах? Это общество однородное в умственном и нравственном отношении, хозяйственно и политически чрезвычайно свободное, однако свою свободу «упражняющее», как говорил Дж. Ст. Милль, в основном в области хозяйственной, не имея широких политических целей, за исключением одной — сохранения нынешнего порядка. Все духовные, идейные, нематериальные ценности выведены в нем «за скобку» и признаны, в конечном счете, личной прихотью, в которой личность совершенно свободна и не подлежит принуждению. Единственным верным и неоспоримым благом в этом обществе признаётся «жизненный успех», иначе сказать — богатство и приносимые им уважение и власть. Вот относительно цельная и, полагаю, истинная картина. Те, кто уверяет, что бо-

гатство — непременно следствие широкой свободы, ошибаются, поскольку этой картины не хотят видеть. На самом деле, и богатство, и широкая свобода — только последствия одного и того же выбора: решимости отпустить человека «на все четыре стороны», отказавшись от мысли усовершенствовать его ум и совесть, однако всячески поощряя его трудовую мораль. Немалое значение имело здесь протестантство, которое, прежде чем умереть и выветриться, привило многим народам настоящий культ труда — культ, которому верны теперь даже японцы, не протестанты и вообще не христиане, однако завоеванные не так давно протестантской нацией... Не будь этой этики честного труда, поэзии законной прибыли, либеральная мечта принесла бы совсем иные плоды.

Общество равных прав не может не стать обществом, где правят деньги. Равенство противно человеческой природе. Тщеславие и простое самолюбие требуют отличий, преимуществ, возвышения. Там, где все различия между людьми сглажены, откуда ушла разница в происхождении, воспитании, образовании, остаются только деньги, и хозяйственная предприимчивость — главный, хотя не единственный способ их приобрести. Перед брошенной в плоское, одномерное общество личностью нет прежнего пути постепенного возвышения, общественных ступеней, по которым в прежние времена можно было подниматься. Ей остаются только деньги и власть, производительный труд или политическая карьера. Всё это говорит не в пользу мечтаний о переносе

либеральных порядков в страны, имеющие иное прошлое. На чуждой культурной почве всё дурное в этих порядках обнаружит себя сильнее; все хорошее — останется неудачной прививкой. Чтобы быть хорошим капиталистическим работником американского духа, нужно в первую очередь перестать быть русским. К тому же, психологически гораздо проще перенять любовь к деньгам как последней, верной и не обманывающей ценности, не перенимая этики честного труда — ведь капитал, в конечном счете, не становится меньше оттого, что заработан несправедливо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.